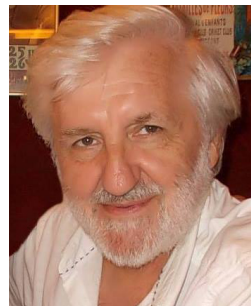


# Вальдемар Вебер



## ТЕТЯ НАСТЯ

Каждое воскресенье и по престольным праздникам она ездит в Александров на службу во вновь открытую там церковь – единственную во всей округе, а также по несколько раз в год на исповедь, на ее языке «на говение». Апокрифические рассказы о деяниях святых почитает не менее самого Писания, да, собственно, она их от него и не отделяет, – добавляет свою фантазию, начинает суевериями детства.

Верит в приметы, загадывания. Например, что если сорока прилетела под утро к дому, то обязательно жди гостей. Как ни странно, эта ее примета почти всегда сбывается. Знает много чудесных и «жутких» историй, происшествий, которые якобы случились в ее жизни или в жизни тех, с кем была знакома.

Добрые силы в её рассказах не всегда побеждают, что вызывает мой протест, и тогда тетя Настя воскрешает героя, обрызгав его живой водой. Знает тетя Настя и массу загадок, пословиц, заговоров, заклинаний, вот только петь не умеет, слушать любит, но сама никогда не поет. Даже в застолье не подпевает.

В её комнате на комоды и подоконниках – стопочки маленьких книжечек, ещё царских, с цветными картинками, с рассказами о житиях Святых и мытарствах души, на стенах образки, деревянные крестики, в плетеных и жестяных коробочках – просфорки от прежних посещений церкви. Она хранит их долго, по году, употребляет понемногу, размачивая кусочки в святой воде. Над божницей и рядом – пучки пахучей травы. В одном из углов почти под потолком березовый банный веник. Когда он выпаривается, тетя Настя использует его для подметания, а в угол вешает новый.

Она редко гневается, никого не судит, даже богохульников. Про все плохое говорит:

– Искушение это нам.

Не помню случая, чтобы кто-то из нас пренебрежительно высказался о ее необожности. Мы лишь подтруниваем над ее суевериями. Когда в грозу она тревожно крестится и молится, мы смеемся и объясняем, что всё это только физика.

Она обучает меня церковнославянским буквам, узнав же о моем православном крещении в Сибири, принимается просвещать уже без сомнений. Грамоте она выучилась в доме александровского купца и фабриканта Первушина, где с детства прислуживала. Когда к купеческим детям приходил учитель, Насте разрешалось заниматься вместе с ними.



И хотя нам в школе внушается совсем иное, тексты из ее книжек слушаю с трепетным интересом. Лишь сожалею, что ее неофициальные и такие притягательные праздники нельзя отмечать столь же открыто и со всеми, как Первое мая или 7-е ноября. Тёте Насте подобные параллели не по душе:

– Вот поедем на Пасху или на Троицу к Сергию в лавру, увидишь, что такое праздник.

Она была нашей единственной соседкой по квартире. Считалось, нам сказочно повезло, не в казарму-спальню угодили, не в избяной частный сектор, а в ведомственный двухэтажный кирпичный дом на восемь семей, с теплым общим туалетом на каждом этаже, с печными плитами и водопроводом.

По причине полного согласия между нами и тетей Настей назвать наше жильё коммуналкой не поворачивается язык. Подружившись с первого дня, мы жили, по сути, одним семейством. Тёте Насте принадлежала отдельная комната, где нашлось место для железной узкой кровати, небольшого комода, платяного шкафа, стола, сундука, а также красного угла с иконой.

Ребенком я целые дни проводил с тетей Настей, глядел, как она варит в медном тазу на керосинке малиновое варенье, слушал ее рассказы. Или мы вместе наблюдали из ее окна, как на корм, высыпанный ею из форточки на карниз, налетали красногрудые снегири и желтые овсяночки – мир я начинал познавать из окна тети Насти.

Все звали ее Анастасией Карповной, только для нас она была тетей Настей. Выросшая в деревне Лукьянцево под Александровым, она вышла замуж за белоруса, жила долго в гомельском Полесье. Три первых года войны провела в оккупации. Муж умер еще в тридцатые, сын, призванный в армию в сороковом и прошедший через все фронты невредимым, остался на сверхсрочной, служил теперь на Дальнем Востоке.

Белорусская деревня тети Насти сгорела. Оставшись без крова, она подалась с другими погорельцами на восток, навстречу своим. Прячась ночью и днем по лесам, добралась до освобожденной зоны.

Факт пребывания в оккупации не имел для нее особых последствий. В анкете после возвращения на родину в январе 1945-го написала: жила в оккупации в деревне такой-то, сын – на фронте.

В родном селе, где она поселилась в семье брата, никому в голову не приходило ставить ей в упрек годы, прожитые при немцах. Только в 1947-ом, когда она перебралась к нам в город и устроилась на работу в столовой комбината, спецотдел заинтересовался ее прошлым подробнее, стал таскать на допросы, но все в конце концов уладилось – сыграли, видимо, роль военные заслуги сына и его офицерский чин.

В ее белорусском доме два с половиной года квартировали три немецких штабиста. Двое были родом из Риги и понимали порусски. Один из них был православным. Поэтому, когда выяснилось, что её новые соседи в Карабаново тоже немцы, она никак не удивилась. К звуку немецкой речи она привыкла, а в то, почему мы здесь и что нас сюда занесло, не вникала. Пережив несколько войн, террор, разорение церквей и деревни, она отучила себя давать окончательные оценки страшному настоящему, воспринимала все как судьбу, как неизбежность, через которую надо пройти, не теряя достоинства и чести, настоящей же жизнью была для нее жизнь в вере.

...Год начинается с весны. Ростепель – предвестье. Первый весенний воздух, таяние сосулек, золотые капли. И, наконец, самая ранняя, но уже настоящая весна. Ручейки, плывущие чурочки, кораблики из коры, запах колесного дегтя, винный запах от сосновых досок старых сараев. На реке бьют лед для ледников – для большого городского, потом – каждый для себя, у кого изба или рядом с домом сарай. Ледоход, ветлы, утопленные высокой водой, черные полыньи и вороны над ними. Когда подсохнет, мажут лодки смолой, выносят на припек матрасы, тулупы пальто, телогрейки. Помню свою замороженность быстрым движением весенних ручьев, а по вечерам – неподвижностью, когда они, замерзая, останавливались, словно по мановенью. Тётя Настя поясняла: тому, кому они повинуются, тоже хочется кое-когда поспать.

Ранняя весна – это тёти Настин пост, если он попадает на вторую половину марта. На подоконнике у неё ящик с зелёным лучком, посаженным загодя. Перед постом она посещает всех знакомых, просит простить ее за прегрешения. Для нас в этом ритуале какая-то странность, нелепость, а потому загадочность: какие у тёти Насти могут быть грехи? Но слова «Прощенное Воскресенье» звучат, как музыка.

Сухари для поста она сушит недели за две, больше черные, на постном масле, в доме потом долго стоит дух жареного хлеба. Накануне поста идет в баню и проводит в ней чуть ли не целый день. На Чистый понедельник одевается во все праздничное и так ходит весь день.

Пост – это и наш вдруг преобразившийся городской рынок, куда меня водит тётя Настя. Яблоки, клюква, брусника, крыжовник – моченые, солёные, засахаренные, подмороженные. От капусты дух резкий квашенный, от огурцов душистый укропный. Солёная с маринадом репа, грибы сушеные, солёные. Пирожки с луком, с изюмом. Медовые пряники, варенье. Приезжие азербайджанцы продают солёные арбузы. В мамином детстве на Волге они были зимой ее любимым лакомством. Но нам они не нравятся. Мама обижается.

Для Вербного воскресенья тётя Настя нарезает вербу заранее, ставит в бутылки на подоконник, чтобы сережки к сроку пушистее стали, золотистее. Стоит верба в бутылках после освящения в церкви долго, многие недели. Время от времени тётя Настя срывает одну из сережек и жуёт, не знаю, почему, – то ли освященная, то ли полезная.

Пасха – праздник, который празднуют все, даже родители. Хотя и тайно, закрыв двери. Случается, что немецкая Пасха и русская выпадают на одну и ту же неделю. Мама тоже печет кулич – остеркухен. В отличие от остальной ее выпечки он почти такой же, как тёти Настин. Яйца красят в разные цвета, но больше в «луковый». Всюду по городу на земле скорлупки. Многие рабочие христосуются открыто, чего бояться – не библиотекари, не учителя.

Церкви в Карабаново нет, сломали еще в конце 30-х, верующие ездят на Пасху ко всеобщей в Александров. В автобусах мест не хватает, ходят за восемь километров пешком. Возвращаются под утро, до обеда, поэтому на улицах затишье, затем по окраинам и окружным деревьям начинается гулянье.

Вскоре после Пасхи – Первое мая, мой любимый праздник. Музыка, бумажные цветы, красные флаги, первые пикники. Тётя Настя на демонстрацию не ходит. В этот день, даже если солнце и тепло, ей почему-то всегда нездоровится. Вспоминает, как однажды ее барину-фабриканту рабочие забастовку объявили – а как раз заказчики издалека приехали, не могли долго товар забрать.

Двойные рамы выставляются поздно, холода могут нагрязнеть и в начале мая. День, когда их наконец выставляют – один из самых счастливых. Значит, скоро лето.

Вначале все ненадолго бело от черемухи, потом подходит неторопливый период сирени. На Троицу в домах над дверьми и под потолком нарезанные ветки березы, ходят в лес за березовым соком, еще неделя, а там – и лето в разгаре.

Хотя и город, но повсюду пахнет сеном, на окраинах у всех коровы, у многих лошадки, все косят. С теплом появляются цыгане, разбивают табор в широком овраге в двух километрах от города.

Летом о тёте Насте я почти забываю, захлестывает свобода от школы, детские игры и другие бесчисленные удовольствия, тётя Настя напоминает о себе праздником Преображения.

Считалось, что лето кончается в начале августа, на Илью Пророка, ночи темнели, дни укорачивались, вода в речке резко холодела, но мягкий август длился долго, распространяя яблочные дұхи.

Яблоки, много яблок, к тёте Насти их несут и несут, она их с радостью раздает дальше, для неё они – плоды Спаса, Преображенья. Грустное время – скоро в школу...

Если сентябрь теплый, лето продолжается, разводим костры, печем в поле картошку. Перед первыми ночными заморозками мочат антоновку, рубят капусту, засаливают огурцы, зеленые помидоры. Настя ходит к подруге помогать и берет меня с собой. Торопятся: скоро дожди зарядят, дороги размокнут, над домами закурятся дымки, мама и тётя Настя начнут чуть ли не каждый день печь пироги, и мы будем чаевничать все вместе долгими вечерами.

Главное событие в эти хмурые дни – праздник Октября, торжественные собрания, школьные концерты. Для тёти Насти этого праздника словно не существует. Я к тёте Насте в комнату не заглядываю, сержусь на нее. Хожу мимо ее дверей и громко пою «Смело товарищи в ногу...»

Между рамами у тёти Насти ветки рябины. Огонь ягод делает хмурые дни светлее. Задолго до Рождества все завалено снегом.

После приезда бабушки и переезда на новую квартиру у нас тоже справляется Рождество, бабушкино немецкое Рождество, оно всегда первое, прежде тёти Настиного. Бабушка редко улыбается. Ее церковь где-то далеко-далеко, в каких-то заволжских степях, всеми брошенная, заключенная.

Тётя Настя приходит к бабушке на Рождество из уважения – ее Рождество еще впереди, 7-го января, сейчас она держит пост, а у нас рыба, жареная щука, но бабушка специально для тёти Насти постные булочки испекла, накладывает ей капустки. Все мирно, с обоюдным почтением. Тетя Настя лишь удивляется: у нас, православных, в Сочельник так сытно не едят, разве что кашу, сайку с чаем.

Для папы с мамой главный праздник – Новый год. Красная звезда на елке, празднуют шумно, зовут гостей. Рождественский дед перекочевал из Рождества в Новый год, тетя Настя называет его «товарищ Дед Мороз».

На Новый год она тоже ничего не ест, ее пост продолжается. Говорит:  
– Вот на Старый Новый год душу отведу и рюмочку выпью.

На свое Рождество она мажет свечки медом, уверяет: у меда самый рождественский запах. На святки ходят ряженые с личинами, с бородами, огромными носами, парни румянят щеки, мажутся сажей. А там и крещенские морозы, купание мужиков в проруби, соревнуются, кто кого пересидит, после купания – кто кого перепьет. Катание с ледяных горок на санках, на коньках.

На масленицу у тёти Насти для всех нас блины, а за окнами гармошка, ча- тушки, хохот, крики, матерная ругань.

Стучатся цыганки, предлагают погадать, тётя Настя их гонит, говорит, что в святки нагадалась.

Казармы-спальни устраивают между собой драки, «стенка на стенку». Старинный деревенский обычай, выродившийся в пролетарской среде в мордобой, на окраинах дерутся даже с кольями и цепями.

Перед Великим постом пьют безбожно. Самое несчастное время для комбина- та. Прогоулы, опоздания. Но никого не увольняют, не сажают, как перед войной, мужская рабочая сила – дефицит. Настя пьяниц не любит. Когда при ней говорят: «если пьёт, значит, мастер хороший», – поправляет: «как мастер – так пьяница, вот напасть то...».

Все увидено детскими глазами, но запечатлелось ярко – жизнь, о которой ни слова – ни по радио, ни в кино. Пережитки... Но что-то такое, значит, в них есть, в этих «пережитках», коли близкие тебе люди так ими дорожат, так их держаться...

Удивительно, но ни мама, ни отец, воспитанные в безбожии, не возражали против приобщения меня тётей Настей к религии. Будто не замечали.

Ежегодно на Троицу тётя Настя направлялась на богомолье в Сергиев Посад, переименованный в те годы в Загорск в честь большевика Загорского, человека незначительного. Никаких гор вокруг не было, но название для русского слуха было благозвучным и потому, наверное, быстро привилось. Никаких ассоциаций с образом Загорского у большинства не возникало.

Немного подросши, я напомнил тёте Насте об ее обещании взять меня когда- нибудь в лавру. Родители нисколько не возражали, хотя знали, что нам придется брести по сельским дорогам, ночевать неизвестно где. Человека надежней тёти Насти в их представлении не было. А та была чрезвычайно довольна, что родите- ли не возражали. Оказывается, с давних времен для паломничества обязательно спрашивали родительского благословения.

Троица в тот год пришлась на самый конец мая. От Александрова ехали на электричке, но сошли уже на следующей остановке в Струнино. Там – Преоб- раженская церковь, в ней тётю Настю крестили. Постояли перед руинами, по- молились. Тётя Настя тихо пела: «Изведи из темницы душу мою...». Я при этом думал: «У нее такая добрая душа, разве она в темнице...»

Затем опять сели на электричку. Когда проезжали Арсаки, тётя Настя, огля- девшись вокруг, полушепотом рассказала, что в трех километрах отсюда была Зосимова пустынь, мужской монастырь, куда она тоже девочкой с купеческими детьми на богомолье ходила. «Там тепереча воинская часть. В кельях монахов солдатики проживают, храни их Господь». А Лукианову пустынь, что рядом с её родной деревней, куда она «сызмальства молиться ходила», в тюрьму преврати- ли. Потому-то и не ездит она туда, «хощь и родина». «И перекреститься-то в её сторону страшно...».

Доехали до станции «Платформа 81-го километра». Оставшиеся десять кило- метров до лавры предстояло пройти пешком.

«Хоть немножко, но пяшком пройти надоть – а то какое ж это хождение к месту святому...», – приговаривала тётя Настя.

Мы идем, минуя околицы деревень, по полям, обрамленным лесными по- лосами, не отклоняясь далеко от железнодорожного полотна. Воздух горячий,

густо жужжат стрекозы и пчёлы, у обочины дороги расцветают первые ромашки, колокольчики, подрастает крапива. В лесу в полдень – напоенный жар, проникающий до костей. В березовой роще он пахнет травами, в сосновой и в ельниках – смолой.

Тётя Настя рассказывает мне про Сергия Радонежского, который жил давным-давно, тогда же и первые храмы в лавре выстроил и освятил, Богородица ему тогда явилась и он духом своим Русь от монголов освободил, а потом во все времена ее спасал, – там, в Троицком соборе мощи его лежат, люди к ним ходят, потому что рядом с ними молитва особенно помогает.

Советовала: – Если ты очень чяго желаешь, только, конечно, чяго душевного, например, помощи кому-нибудь или сябе самому, попроси Сергия, у яво мощей.

Учила: – Обращение к Святому надо начинать нараспев: «Преподобный отче наш Сергей, моли Бога о нас».

Вблизи одной деревни в лесу она долго искала знаменитый родник, обязательно хотела попить из него. Потом хлестала себе ноги молодой крапивой, моча её в студеной воде, приговаривала:

– Теперь побягут, словно и не ходили...

Дорога была безлюдной. Тётя Настя обещала:

– Вот придем, увидишь, скоко там крященого народу. Все больше со стороны Москвы по Троицкой дороге на богомолье ходят, я тоже не один раз, в девках когда была, по ней ходила, а мы вот с тобой нонче с другой стороны к Сергию идем, – да рази не одно, откуда идти, важно Преподобного уважить.

На той, Троицкой дороге, вспоминала она, трактиры были, чай и постное предлагали.

– Ну ничё, скоро к Дарье придем, у нее и напьемся.

До Дарьи, свояченицы тети Насти, ее ровесницы, жившей километрах в двух от лавры в деревне Топорково, мы добрались ближе к вечеру. Лес кончился, солнце еще светило, издали виднелась колокольня монастыря.

Дарья уже ждала нас, самовар кипел, пахло сосновыми шишками, было жарко, и чай мы пили в саду. Со лба тети Насти текли струйки пота, она утиралась большим полотенцем, но продолжала пить стакан за стаканом вприкуску с вареньем. Держа глубокое блюдечко в левой руке на всех пяти растопыренных пальцах, она отдувала парок и громко схлебывала. Дарья пила не меньше. Было непостижимо, как в них столько вмещается.

Очень хотелось пойти ко всенощной, но меня сморило, и тётя Настя с Дарьей ушли одни. Я засыпал под дальние звуки благовеста.

Проснулся рано. Тётя Настя еще спала на кровати напротив, и я долго лежал молча, боясь ее разбудить, смотрел на освещенные первыми солнечными лучами деревянные доски противоположной стены, увешанные поблекшими бумажными цветами, вышивками и фотографиями, вслушивался в тишину. Ждал, когда в лавре прозвучит первый удар колокола, о котором знал от тети Насти, что он самый главный, что он тон всему дню задает – всем другим колоколам и молитвам.

Дарья к обедне идет вместе с нами. По пути рассказывает, что даже в годы, когда лавра была закрыта, все равно люди шли сюда: постоят у монастырских стен, рукой их коснутся или приложатся, пучок травы нарвут и в котомку спрячут, сама видела. А кто и до Троицкого собора, минуя охрану, добирался.

Впереди маячит Троицкий собор с блистающими звездами на синих куполах, вырастая все больше и больше. При приближении к лавре много калеченых и убогих. Столько их сразу вместе я никогда еще не видел. У нас в городе тоже много инвалидов с обрубками рук и ног, едущих на маленьких платформах-колясках, но здесь и слепые, и хромые, и с язвами на лице, на глазах, на теле.

В медленно идущей к главному собору толпе несколько женщин, странно себя ведущих, крикливых, с диковатым выражением глаз.

– Эти выделяются, – говорит тётя Настя, – но многих болящих не распознаешь, они хоть сябя и тихо вядут, а душа у них болит, тоже исцеленья пришли просить.

Она заранее, еще дома, наменяла медяков, часть дала мне, чтобы раздавал просящим подаяния, когда к храму подойдем. И еще поразило: много молодежи и женщин с детьми. Не так, как у нас в Александрове, где в церкви одни старики.

В соборе полумрак, самое яркое место вдали, у гроба Сергия, там больше всего свечей, откуда-то слышится хор, но, прислушавшись и присмотревшись, замечаю, что поют почти все. Кто тише, кто громче, не поют лишь те, кто продвигается в один ряд в очереди к раке. Вперед никто не протискивается, даже увечные ждут терпеливо.

Дошедший до раки прикладывается к стеклу над нею, потом крестится, священник, стоящий рядом, крестит его.

Я к раке решаю не идти, что-то мешает, какая-то внутренняя тревога, ощущение неготовности... Тётя Настя не настаивает.

На выходе из собора сталкиваемся с моей школьной учительницей пения. В Карабаново она носит волосы открыто, славится модными прическами, а сейчас повязана платком. Я здороваюсь, она испуганно вздрагивает, делает вид, что не знает нас и торопливо исчезает.

Когда думаю о том паломничестве, не могу отделить его от впечатлений более поздних. Повзрослев, я бывал в лавре много раз, да и в постсоветские времена приезжал, когда у монастырской наружной стены вновь закипела пестрая торговая жизнь. Но уже и тогда, в середине 50-х, многолюдно было и многоцветно: иконки продавали, кипарисовые кресты, туески, коробка, деревянные миски, кружки, ложки, шкатулки, платки, резные игрушки, и было много цветов и у ворот, и в самом монастыре. Березки внутри церковей и снаружи. У некоторых мужчин в нагрудных карманах ландыши. Стены монастыря запомнились мне в тот первый раз почему-то не белокаменными, а розоватыми. До сих пор, когда думаю о лавре, в памяти моей два цвета – розовый и голубой.

В тот день нам с тётей Настей почему-то постоянно хотелось пить. Она считала: «Это нас посадские родники к сябе зовут, распознали в нас жажду душевную».

Стоит перед глазами маленькая разноцветная часовенка, внутри бьет из-под земли источник. Был ли это тот самый, что в центре лавры, или какой-то другой, теперь не вспомню – в Сергиевом Посаде много чудотворных родников. То, что мы пили именно из того самого, маловероятно; говорят, он был замурован и власти, даже когда разрешили открыть монастырь, еще многие годы не позволяли размуровывать родник. Но в душе так запечатлелось: люди идут и идут к часовенке – через всю страну, за тысячи верст – попить живой водицы.

